

РУССКАЯ КЛАССИКА

Иван

БУШИН

Леткое дыхание



Легкое дыхание //Эксмо, М., 2001

ISBN: 5-04-001797-9

FB2: "shum29 ", 23.11.2008, version 1.1

UUID: 9d35c661-0ae4-102c-96f3-af3a14b75ca4

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Хорошая жизнь

Содержание

#1	0005
Комменты	0050

Иван Алексеевич Бунин
ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижимым имуществом владаю, — старичок-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал, — и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

— Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоят они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать — побирушки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли

капусту у барышни Мещериной. Она фрелинной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокойе. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью, в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг — скандал ужасный. Напились мы чаю утром, — праздник был, — я и стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветреный, я и загляделась, и не вижу, как подходят вдруг ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой — простой мужик, его работник. Подходит к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня и не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

— А где, — говорит, — твой отец?

— Они, — говорю, — по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

— Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

— Как, — говорю, — караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы, — говорю, — смее-тесь? Вы, — говорю, — бумагу нам должны предъявить.

— Не разговаривать, — кричит. — Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля эта теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю, — того гляди в морду заедет.

Увидал эту историю батенька, бежит к нам, — он у нас ужасный горячий был, — подбегает и спрашивает:

— Что за шум такой? Что вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно

объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, — говорит, — духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услышал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой его огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе — раз! Тот было — на грудь, а батенька пересадила ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

— Не подходите, за-ради бога, ваше священство! Вы, — кричит, — черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да и схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не про-

живешь, надо, видно, с оглядочкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу, — деться мне некуда, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник, — он и посватался. Не сказать чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать — разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дразги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня Господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец

на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, — все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить, — сам стал чай пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак... Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра, — мы с ней квартиру-то снимали, — и говорит:

— Твой Костя нынче целый день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, все в рот тащут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула ложок, а уж он томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, — чем вы, говорит, его кормили?

— Ел, мол, кашу манную, только и всего.

— А ничем не играл?

— Так точно, играл, — говорит сестра. —

Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

— Ну, — говорит фельшер, — обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, — говорит, — отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, — видно, против Бога не пойдешь. Так и этого похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один — господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартиру снимали, тридцать рублей помесечно платили. Сами в верхнем этаже, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит... Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого офици-

анта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда...». Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу, — господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ину пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, больная, старе его годов на десять. Он нехорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сажу мотаю, — всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится,

хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Всходит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже — не успел по двору пройтись, запылится весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы, — говорю, — делаете! Барыня идет, уйдите за ради Христа!

— Если, — говорит, — полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посулы!

— С места не сойтить, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка, а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол, — как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке маленькой, вроде корзиночка, — постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла с этого места и опять думаю: пропадает задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь,

обидел меня Бог! Запрягусь, думаю, сизнова и уж жива не буду, а добьюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в ученье к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать чтоб большое: хозяин Матвей Иванович, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин человек был серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, — выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с кало-

шами, — глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все чтой-то строила, барышню какую-то, — ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, — хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! — ну, а я-то поумней была. Я, бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный — так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась, — затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, — а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшóму-то уж годов двадцать сравнялось, как я на место заступила, а меньшому четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я и то сколько разов видела это дело. Как сло-

мает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде как известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет, — рука-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а полозил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам — так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здорово занимался, умная был голова! А уж как на гармонье играл — где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпевает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.

Старший сын был здоровый, а тоже вроде

дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в ученье во всякие училища — везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, залетя куда-нибудь — и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду, — как хозяйева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках — и ни стуку, ни хрупы. На другой день встал, — как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову — его дело... А тут и от меньшого, от Никанор Матвеича, пошел доход.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы беспрерывно обеспечить себя, так и укрепилась в этой жизни. Каждую копейку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую — да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяйевам сказала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше при-

бавьте мне какую ни на есть безделицу, — осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки — все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости Господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня Господь сынком! Иной раз из головы не идет, — я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал, — да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в каком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, походя!» Стала я замечать — похоже, влюбился он в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый — из-

бавь Бог. Лицо широкое, а худощавый, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может, — зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливаешься, — заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит, — притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу — ползет с новой немецкой гармоньей по двору, — опять подбрислся, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы, — голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал — и-и залился под польку:

*Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать,
В танцах я могу смелее
Про любовь свою сказать...*

А я, будто и не заметила, — как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице, обтирается одной рукой, другой

гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:

— Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя.

И только всего... Правда, смиренный был.

Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе — либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно ото всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые.)

— Ты, — говорит, — посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня лежало с процентами сотни четыре. Значит, ду-

маю себе, пора мне теперь понемножку вылезать из хомута. А все жалко было — хотелось еще годок-другой пережить, еще покопиться маленько, главная же вещь — проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал: понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет да и подумаю: прости, Господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь при-творю и заговорю шепотком:

— Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:

— Насть, что ты такая грустная сделалась?

— Так, мол, — мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и на́ руку щекой обопрусь.

— Да в чем, — говорит, — дело-то?

— Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему, — дело, как сейчас помню, на Средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда, — я вошла к нему с работой в руках, — шила себе чтой-то, — села возле постели и только это хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговори сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крест-накрест сложил и смотрит искося. Рукава широкие, шаровары того шире, а ножки, ручки — как спички, голова тяжелая, большая, а сам маленький, — даже смотреть нехорошо. Глянешь — думается, мальчик, а

лицо старое, хоть и моложавое будто — отбритья-то, — и усы густые. (Он, почесть, каждый божий день брился, так, бывало, и пробирует борода, все руки конопатые и то все в волосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

— Насть!

Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никанор Матвеич?

А у самой так сердце и подкатилось.

— Ты знаешь, где моя копилка лежит?

— Нет, — говорю, — я этого, Никанор Матвеич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

— Встань, отодвинь нижний ящик в гардеробе, возьми старую гармонью, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

— Да зачем она вам?

— Так. Хочу деньги посчитать.

Я слезила в ящик, крышку на гармонию открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погромел, положил подле, — чистый, ей-богу, ребенок! — и задумался об чем-то.

Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

— Я, Насть, нынче сон один счастливый видел, даже до свету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.

— Да вы, мол, Никанор Матвеич, и всегда чисто ходите.

А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.

— Ну, — говорит, — ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду, — ты даже представить себе того не можешь!

Мне даже жалко его стало.

— Над этим, — говорю, — грех смеяться, Никанор Матвеич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может, — говорю, — Господь даст, поздоровете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон видели?

Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться, — какой я, мол, житель! — стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать, — скажи ты, говорит, за-ради бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи моей нету, надоела она мне, лежу на кровати и все

смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно, — а сам все деньгами погромыживает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю, — чисто помешанные какие, несем что попало и с Дону и с моря, — наконец того не вытерпела, — ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! — и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нет, — говорю, — вы лучше скажите, какой сон вы видели? *Про нас что-нибудь?*

Хотела, понятно, приятное ему сказать и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть — и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся, — наконец того, отпирает, высыпает ее себе на живот, — как сейчас помню, две серии и восемь золотых, — сгреб их в руку и вдруг говорит шепотом:

— Можешь ты меня один раз поцеловать?

У меня руки, ноги и отнялись от страху, а он-то с ума сходит, шепчет, тянется:

— Настечка, только раз! Бог свидетель те-

бе, — никогда больше не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и поцеловала его. Так он даже задохнулся весь, — ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту небось не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне — и к стенке:

— Иди, — говорит.

Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка...

Ну, хорошо, — это дело, значит, слава богу, вышло, начинаю другое обдeldывать, поглавнее, из-за какого я и билась-то пуще всего. Чую — быть скандалу, боюсь, не будут меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится по-прежнему, аккуратно, будто ничего и не было промеж нас, даже думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор, — мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, освободиться на время. Хозяева и

слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешечкой.

— Ты, — говорит, — не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бесовственные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку — я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же, — полштоф под кроватью так и дежурил, — и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше — больше, я и говорю хозяевам:

— Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть приходиться когда к празднику, к именинам:

— Обязательно, — говорит, — чтоб ты приходила всегда все прибрать, приготовить. Я, — говорит, — только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три сумы, накланялась в пояс — и сошла. И сейчас же, Господи благослови, за дело. Купила дом этот, открыла кабак. Торговля пошла ужасная хорошая, — стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе, — я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной, — я к нему: взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права — и заторговала. А тут как раз и Ва-

ня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол его устроить.

— Да куда, — говорят, — его устраивать, у тебя и дома работы девать некуды.

И то правда. Сажая Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь, — Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:

— Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспрременно велел проведать его.

Тут меня даже в жар бросило со зла да стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

— Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно в сводни лезть. Слышала ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит

на меня исподлобья пухлыми глазами, да только кочаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

— Эх ты, — говорит, — бесчувственная! Он, — говорит, — даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.

— Что ж, — говорю, — и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавись. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.

Две горницы в доме я под квартиру сдала, одну наш постовой городской снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Холин, она у него на содержание была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них

расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя — восемь рублей задолжала.

— Надо, — говорю, — барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

— Я, — говорит, — постараюсь.

— Да вот, мол, чтой-то не видно вашего старанья. Вместо того чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

— Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

— А-ах, — говорю, — скажите пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого. Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

— Ну, нет, — говорю, — перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

— Я, — говорит, — хорош собою.

— Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю, — прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, пошлышу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

— Да вам-то, — говорит, — что за дело? Может, я на ней жениться хочу.

— Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, — говорю, — давно вижу, только не бывать тому во веки веков.

— Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.

— Любовь хорошая, — говорю, — от поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, — говорю, — дурная, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, Господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело — врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как

ни могá, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером — домой. Подбегаю, толк в дверь — так и есть: заперто. Стучу — молчат. Я в другой, в третий — опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Начала я в окна колотить — альни стекла зудят. Вдруг задвижка — стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы — и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, — все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели от страху. (Думала, бить кинусь.) А я и говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:

— Чтой-то у вас, — говорю, — ай стовор? Ай именинник кто? Что ж не привечаете, не уго-

цаете?

Молчат.

— Что ж, — говорю, — молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было шерсть взбудоражил:

— Я сам в лета взошел!

— Та-ак, — говорю, — а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами молодые были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услышавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замо́к. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:

— Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!

(С волчьим билетом, значит.)

— Хотите вы, говорит, этого ай нет? Нонче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она — в слезы. А я еще поддавала.

— Пусть, — говорю, — денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже попритих было на время. Вышел наутро из-под замка — и ни гугу: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, — да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку подсылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок — платок, мыло — мыло, — что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того и совсем лавку забросил: дома и

не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку — и марш. Я мечусь как угорелая — из кабака в лавку, из лавки в кабак — и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, — весь в меня, — лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие... А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнуться стал — и все молчит, в переносицу себе смотрит.

— Вы меня не тревожьте теперь, — говорит, — я могу каторжных дел натворить.

А захмеляет, расслюнявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Раз узнаю поскорее от верных людей об его жизни — беды, вижу, никакой: надо решаться, на-

до поскорее знакомство завести, — нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, — надо, значит, предлог найти, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иванович, лавочник». — «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, — ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно, бережнóй, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, да не отдал. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь — до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит и все рассказывает, как прейскурнт какой читает: вот тут-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут

нечего, надо дело кончать...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала — одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую, — мол, таки добилась своего, нашла свою партию! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ан, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николаем Ивановичем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, — небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! На вот, мол, тебе, — грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стену над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполоз с кровати. Штука нехитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-что — вдруг ктой-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня

сердце и оборвалось. Выскочила на порог — Полканиха.

— Ты что?

— Никанор Матвеич приказал долго жить!

Брякнула, повернулась — и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, — меня прямо как варом обварило со страху, — накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается — и я бегу... Прямо страм на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем Бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настезь, кто хочет, тот и лезет, — всем, понятно, любопытно. Я было, сдурю-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула — да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чиж паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, — да хоть та же Полканиха со зла, — вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, — и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном ни духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай.

Ну, похоронили его — у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку — вдруг опять беда-горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, — жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особенно у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, — вдруг еще новость — Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, — лютая псовка была, небось сама же, остроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча, — передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладывает — делá будто есть — и об сыну, об Ване, наказывает: чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие блага не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас вчистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается,

слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и совсем голову свернет, а сбывать — не миновать. Я и сама-то с ним на нет сошла с самых с этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует, — ночь за день сходит... Что я тут горя вытерпела — сказать невозможно! До того добил — стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемняет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала...

Ну, получивши такое решение от Николай Иваныча, призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго, ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ославил. Привык ты нежиться и блаженствовать, — наконец того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а

ты ничего нажать себе не можешь. Я вот и почета себе добилась, и недвижимое имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть...

Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.

— Что ж ты, — спрашиваю, — молчишь? Ты клеенку-то не дери, — наживи прежде свою, — ты отвечай мне.

Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

— Вы, — говорит, — замуж выходите?

— Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:

— Да вы ногтя ее не стóбите!

Хорошо ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью грохнул — и был таков. А я, уж на что неплаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой, — как поду-

маю, какие слова он мог мне сказать, так и за-
льюсь. Плачу и одно в уме держу — до́ веку не
прощу ему такой обиды, со двора долой сто-
ню... А его все нету. Слышу — у своей пирует,
танцы, пляс, пропивает наворованные денеж-
ки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успо-
кою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером,
камнем убью. Присылает, — на смех мне, по-
нятно, — в лавку за покупками, берет то жа-
мок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а
креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке —
вдруг сам всходит. Пьян — лица нету. Вносит
селетки, — утром девчонка приходила, купи-
ла, на его, понятно, деньги, четыре штуки, —
и как шваркнет их на прилавок!

— Можете вы, — кричит, — присылать та-
кую скверность покупателям? Они вонючие,
их собакам только есть!

Орет, ноздри раздувает — предлог ищет.

— Ты, — говорю, — тут не буянь и не ори,
сама я селедок не работаю, а бочонками поку-
паю. Не нравится — не жри, вот тебе твои
деньги.

— А если бы я их съел да помер?

— Опять же, — говорю, — ты, свинья, не

можешь тут кричать, — какой такой ты мне командир? Авось чин невелик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он схватил вдруг безмен с ларя и этак шипом:

— Как жмакну тебя, — говорит, — сейчас по голове, так ты и протянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу — уработали-таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли — пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках — хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала — принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, — прогоню его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочув-

ствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала, — прямо редкость по нонешнему времени. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая доби- валась, — сказать невозможно! Ну, и награ- дил меня, правда, Господь, — вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю — он меня в оби- ду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет да и заночует сердце. Особливо Великим постом. Умерла бы теперь, думает- ся, — хорошо, покойно, по всем церквям ака- фисты читают... Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни духу об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привезли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кро- вать — цельный день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание, — жив ли, мол... А в горнице — вонь, кислотой какой-то, ле- жит он весь ободранный, изгвазданный, хра- пит и захлебывается... Страм и жалость смот-

реть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и — выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только, — вся дрожу лежу... А ночь светлая, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

— Что это ты, — спрашиваю, — ходишь?

— Живот, — говорит, — болит.

По голосу слышу — тревожится, тоскует.

— Ты, — говорю, — выпей чернобыльнику.

Полежала еще, даже задремала немножко, чувствую сквозь сон — прокрадается ктой-то по половику. Вскочила — он.

— Мамаша, — говорит, — не пугайтесь меня за-ради Христа...

И как зальется в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается, — так плачет-рыдает. Я не стерпела — и себе! Жалко, понятно, а делать нечего — из-за него вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

— Простить я тебя, — говорю, — могу, а поделать, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я

и не слыхала про тебя!

— Мамаша, — говорит, — за что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след простыл. Ушел, значит, пораньше от страму — и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там небось и голову сломил... Да что об том толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будет...

А что он про Никанор Матвеича сказал, так я даже глупо это считаю. Авось не великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

— И калеккой меня, Настя, судьба моя сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чегой-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особливо летом, в жару, в пыль эту, — просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском

кладбище — цельный век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!

— Да что ж, мол, Никанор Матвейч, об этом убиваться? Мы этого чують не будем.

— Да это, — говорит, — что ж, что чують не будем, — беда та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль! И руки-то он наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в Туле: какое же сравнение!

Капри. XI.1911

Комменты

Бунин писал 8 (21) декабря 1911 г. Н. Д. Телешову о своих встречах с Горьким на Капри: «Бываем у него через день, через два, по вечерам. Сидим, поругиваем современную литературу и нравы писательские. По целым дням пишу. Написал два рассказа, отослал в „Современный мир“ и „Всеобщий ежемесячник“». Рассказы «Хорошая жизнь», «Сверчок», о которых говорится в письме, Бунин читал у Горького. «Имею очень большой успех», — сообщал он Ю. А. Бунину в ноябре 1911 г. В письме 23 января/5 февраля 1912 гон спрашивал брата: «Читал ли „Хорошую жизнь“? Что скажешь? Мне кажется, много здорово я завернул!»".

М. А. Алданов, прочитав два последних тома полного собрания сочинений Бунина, писал ему 22 августа 1947 г.: «Почти все изумительно. Самое изумительное, по-моему: „Хорошая жизнь“ и „Игнат“. Но какой вы (по крайней мере тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой „Хорошей жизни“ не помню в русской литературе <...>

Это никак не мешает тому разнообразию, о котором вы мне совершенно справедливо писали. Да, дорогой друг, не много есть в русской классической литературе писателей, равных вам по силе. А по знанию того, о чем вы пишете, и вообще нет равных; конечно, язык „Записок охотника“ или чеховских „Мужиков“ не так хорош, как ваш народный язык <...> Нет ничего правдивее того, что вами описано. Как вы все это писали по памяти иногда на Капри, я просто не понимаю. По-моему, сад, усадьбу, двор в „Древнем человеке“ можно было написать только на месте. Были ли у вас записные книжки? Записывали ли вы отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова в его *правдивых*, а не вымученных со всякими „мелкоскопами“ вещах)».

Бунин ответил 23 августа 1947 г.: «Что иногда, да даже и частенько, я „мрачен“, это правда, но ведь не всегда, не всегда <...> Наряду с „мрачным“ сколько я написал доброго, самого меня порой до слез трогającego! Впрочем, вы и сами соглашаетесь, что я разнообразен. На-

счет народного языка: хоть вы и жили только в Волынской деревне, — и как жили, бог мой! — такой писатель, как вы, с таким удивительным чутьем, умом, талантом, конечно, не может не чувствовать правды и языка великорусского, и пейзажа, и всего прочего. И опять я рад вашим словам об этом. Только я не понимаю, чему вы дивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у вас, когда вам приходится говорить, напр., по-французски? Это в вашем естестве. Так и это в моем естестве — и пейзаж, и язык, и все прочее — язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотницкий, и дурачков, и юродов, и нищих — как в вас русский (и теперешний, и разных старинных людей ваших романов, и французский, и английский). И клянусь вам — никогда я ничего не записывал; последние годы не мало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а „для потомства“ — жаль, что многое из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается; есть у меня и много других записей — лица, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжеты и черты рассказов, которые, ко-

нечно, уже никогда не будут написаны <...> Клянусь, что девять десятых этого не с натуры, а из вымыслов: лежишь, например, читаешь — и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь, и вообще со всем, что кругом. И опять, опять твержу (бесстыдно хвастаясь и, верно, уже будучи тем противен вам): как девять десятых всего написанного мною на девяносто девять процентов *выдуманно*, так и „Игнат“ и „Хорошая жизнь“ выдуманы <...> Ходила к нам, „на барский двор“, одна баба, жена мелкого деревенского торгаша (вся его лавка была в большом сундуке), женщина бойкая, пронзительная, говорливая, соединил я ее не то с Ельцом, не то с Ефремовым — отсюда и пошла „Хорошая жизнь“».

О правде вымысла Бунин писал (запись не датирована): «„Какая у Бунина память! Как живо помнит он всякие события, послужившие ему темой для какого-нибудь рассказа, лица, обстановки, картины природы, цвета, запахи!“»

Это так, да не так. Память у меня на что-нибудь более ли менее обыденное, простое,

бывшее со мной или при мне, на дни, на годы, на лица — словом, на все то, что порой перечисляется моими критиками, даже ниже средней. Зато в меня сильно входит и без конца тайно живет во мне то общее, что было воспринято мной само собою, для меня вполне бессознательно, в тот или иной период моей жизни, в той или иной стране, в той или иной природе, в той или иной человеческой среде, в том или ином быту, в том или ином бытовом языке». Бунин также говорил: «...мое существо сильно воспринимает, запоминает не частности, а нечто общее, а из этого создает вымысел», и так убедительно, что «чуть не все любовные истории, написанные мною, не только мои читатели, но даже и критики считали и считают мною самым пережитыми».